

Philologica russica et speculativa tomus VII

М. И. ШАПИР

UNIVERSUM VERSUS

ЯЗЫК — СТИХ — СМЫСЛ
в русской поэзии XVIII—XX веков

Книга вторая



Языки славянской культуры

Москва 2015

УДК 80/81
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Ш 23



Издание подготовлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
Проект № 15-04-16115

Ш 23

Шапир М. И.

Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII—XX веков / Под ред. А. С. Белоусовой и В. С. Полиловой, при участии С. Г. Болотова и И. А. Пильщикова. — М.: Языки славянской культуры, 2015. — Кн. 2. — XXII, 586 с., 1 л. портр. — (Philologica russica et speculativa; Т. VII).

ISBN 978-5-94457-227-1

Вторую книгу монографии М. И. Шапира (1962–2006) составили исследования по истории русского стихотворного языка XVIII—XX вв., а также по истории русского стиховедения и лингвистической поэтики (от Московского лингвистического кружка до наших дней). На материале произведений Ломоносова, Пушкина, В. Хлебникова, О. Мандельштама, В. Маяковского, Б. Пастернака, Д. Хармса, А. Твардовского, И. Бродского, Д. А. Пригова, Т. Кибирова и др. автор исследует взаимоотношения языка, стиха и смысла и развитие русской стиховой культуры. В приложение включены статьи М. И. Шапира, непосредственно примыкающие по своему содержанию к теме монографии, а также полная библиография его опубликованных работ.

УДК 80/81

ББК 83.3 (2Рос=Рус)

ISBN 978-5-94457-227-1



9 785944 572271 >

- © М. И. Шапир (наследники), 2015
- © Языки славянской культуры, 2015
- © М. В. Акимова, статьи, 2015
- © А. С. Белоусова, статьи, 2015
- © И. А. Пильщиков, статьи, 2015
- © В. С. Полилова, статьи, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

UNIVERSUM VERSUS

О настоящем издании	vii
<i>М. В. Акимова, И. А. Пильщиков</i>	
М. И. Шапир: штрихи к портрету	xi

Часть III. История (XVIII, XIX и XX век)

В поисках незнакового языка (Звук и смысл в поэзии раннего Хлебникова)	3
1. О «звуко-символизме» у раннего Хлебникова («Бобэоби пелись губы...»: фоническая структура)	3
2. Об одном анаграмматическом стихотворении Хлебникова (К реконструкции «московского мифа»)	10
Символическая заумь Фёдора Сологуба: между ложью и фантазией	18
Псевдобиблейские квазиантропонимы в авангардном поэтическом тексте	26
Время и пространство в поэтическом языке Мандельштама (С примечаниями Е. П. Сошкина)	33
Русская тоника и старославянская силлабика: Вл. Маяковский в переводе Р. Якобсона	46
К семантике «пародического балладного стиха» («Солнце» Маяковского в тени Баркова)	62
Эстетика небрежности в поэзии Пастернака (Идеология одного идиолекта)	100
Между грамматикой и поэтикой (О новом подходе к изданию Даниила Хармса)	145
Данте и Тёркин «на том свете» (О судьбах русского бурлеска в XX веке)	151

Содержание

Три реформы русского стихотворного синтаксиса (Ломоносов — Пушкин — Иосиф Бродский)	166
О пределах длины стиха в верлибре (Д. А. Пригов и другие)	237
Семантические лейтмотивы иронии-комической октавы (Байрон — Пушкин — Тимур Кибиров)	257

Часть IV. История науки

«Грамматика поэзии» и ее создатели (Теория «поэтического языка» у Г. О. Винокура и Р. О. Якобсона)	327
М. М. Кенигсберг и его феноменология стиха	346
«...Домашний, старый спор...» (Б. И. Ярхо против Ю. Н. Тынянова во взглядах на природу и семантику стиха)	384
Проблема границы стиха и прозы в свете лингвистического учения Р. О. Якобсона	389
«Семантический ореол метра»: термин и понятие (Историко-стиховедческая ретроспекция)	395
Гаспаров-стиховед и Гаспаров-стихотворец: Комментарий к стиховедческому комментарию	405

Приложения

Из «Литературной энциклопедии терминов и понятий»	441
Литературный язык	441
Язык художественной литературы	447
Московский лингвистический кружок (МЛК)	456
Contra philologiam: Лингвистическое и идеологическое в книге М. М. Бахтина и В. Н. Володинова «Марксизм и философия языка» (Текст подготовил к печати и снабдил примечаниями И. А. Пильщиков)	459
А. С. Белоусова, В. С. Полилова Ненаписанная статья М. И. Шапира о «стихах на карточках» Льва Рубинштейна	483
Список опубликованных работ М. И. Шапира (1986–2015)	496
Библиография	511
Именной указатель	567

CONTRA PHILOLOGIAM:
Лингвистическое и идеологическое
в книге М. М. Бахтина и В. Н. Волошинова
«Марксизм и философия языка»^[*]

1. Я хотел бы предложить вам реферат, причем не просто пересказ, а попытку активного, творческого понимания научного произведения, правда, вышедшего давно — в 1929 г. Это книга, которая называется «Марксизм и философия языка» (подзаголовок: «Основные проблемы социологического метода в науке о языке»). В 1930 г. она была переиздана, на переиздание было три напечатанных рецензии и одна неопубликованная^[1], но потом об этой книжке забыли и вспомнили уже только в 1960-е годы, когда резко вырос интерес к творчеству Бахтина. Дело в том, что эта книга, на титуле которой стоит имя Валентина Николаевича Волошинова, в действительности принадлежит двум авторам. Имя второго автора — Михаил Михайлович Бахтин; правда, доля его в составлении этой книги до сих пор не выяснена и, видимо, не будет точно выяснена никогда. В своей знаменитой статье о Бахтине, напечатанной в VI выпуске тартуских «Трудов по знаковым системам» (1973), Вячеслав Всево-

[* М. И. Шапир готовил статью о книге «Марксизм и философия языка» для спецвыпуска журнала «Russian Literature», посвященного судьбам гуманитарных наук в годы сталинизма (2008, vol. LXIII, № 2/3/4). Этому замыслу не суждено было осуществиться: продуманный до деталей текст так и не был написан. Вместо него были опубликованы (Шапир 2008б) сохранившиеся рабочие материалы: 1) транскрипт лекции, прочитанной в мае 2005 г. в Институте мировой культуры МГУ (первый ее вариант был прочитан месяцем раньше в Лозаннском университете); 2) фрагмент плана этой лекции, не попавший в устное выступление; 3–4) наброски для статьи (2006). Текст подготовил к печати и снабдил примечаниями И. А. Пильщиков. — *Ред.*]

лодович Иванов уверял, что вся книга фактически написана Бахтиным и только идеологический слой марксистской терминологии связан с Волошиновым ^[2]. По всей видимости, это не так. Хотя с другой стороны, утверждения, что Бахтин не имел никакого отношения к этой книге, которые тоже появляются в печати, также совершенно ни на чем не основаны; во всяком случае известно со слов очевидцев, что жена говорила Бахтину: «Помнишь, Мишенька, как ты диктовал <эту книгу> Валентину Николаевичу на даче в Финляндии?» ^[3]

В любом случае, по своей проблематике «Марксизм и философия языка» имеет очень много общего с вышедшей одновременно книгой Бахтина, которая в первом издании называлась «Проблемы творчества Достоевского», а впоследствии печаталась под исходным авторским заглавием «Проблемы поэтики Достоевского» и не раз переиздавалась, начиная с 1963 г. Для 1960-х и особенно для 1970-х годов Бахтин — фигура совершенно культовая. Я очень хорошо помню время своего поступления в университет, когда на Бахтина буквально молились. И статья Михаила Леоновича Гаспарова, вышедшая в 1979 г., весьма критическая и разоблачительная по отношению к Бахтину, рассматривающая Бахтина в контексте тоталитарной идеологии (не прямо, конечно — прямо об этом нельзя было писать, но достаточно прозрачные намеки на это были сделаны), произвела фурор, вызвала род скандала ^[4]. В конце 1970-х — начале 1980-х годов Бахтин был, по-видимому, самым популярным филологом. Так что наш интерес к «Марксизму и философии языка» оправдан хотя бы тем, что эта книга служит выражением весьма популярной идеологии, притом идеологии антифилологической.

* * *

Несколько слов о структуре книги. В ней три части; автор или авторы движутся от общего к частному. Первая часть носит философский характер, вторая — общелингвистический, а третья часть посвящена конкретной лингвостилистической проблеме, а именно, лингвостилистическим аспектам передачи чужой речи. Речь у нас пойдет о первой и второй части.

Начинает автор с обсуждения проблемы отношения знака и идеологии. Первый его тезис можно считать более или менее справедливым (правда, по-видимому, самоочевидным): «Все идеологическое, — написано на 15-й, то есть первой после предисловия, странице, — обладает *значением*: оно представляет, замещает нечто вне его находящееся, т. е. является *знаком*. *Где нет знака — там нет и идеологии*». То есть, хочет сказать автор, всякая идеология непременно выражается в знаковой форме. Здесь возникает один простой вопрос: «А что такое идеология?» Наверное, стоит говорить не просто о «системе идей» (тогда и теория множеств Кантора будет идеологией), а о системе взглядов и представлений (важно, что они являются чем-

то намного менее конкретным, менее осозанным, нежели идеи). Идеология может быть более или менее смутной. (Сам термин принадлежит Дестюту де Траси, с 1801 по 1815 выходили 4 тома его «Элементов идеологии». Его представление об идеологии не сильно отличается от современного. В свою очередь, для Маркса и Энгельса это слово было ругательством, свое учение они идеологией не считали, идеология для них — это только идеалистическое учение.) Современные словари говорят об идеологии как о *системе взглядов и представлений*, используя при этом выражение *система идей, характерная для социальной группы, для партии, общества в целом*^[5]. Ряд перечислений длиннее, в нем присутствуют разного рода социальные ячейки. Меня это определение не устраивает, потому что мы можем говорить и о личной идеологии. Но при этом далеко не каждый взгляд или идею (например, идею вставшего ночью с постели набить брюхо у холодильника) можно рассматривать как часть в системе его личной идеологии. Можно говорить об идеологии личности, но только в той мере, в которой эта система представлений личности оказывается социально релевантной. Идеология личности — в ее отношении к обществу. Именно в этом смысле идеология всегда социальна. Я сам рассматриваю идеологию как субститут духовной культуры в быту, то есть это такое тиражирование, препарирование, уплощение, ремодификация духовной культуры, которая помогает человеку ориентироваться в социуме, а часто — противостоять этому социуму. Это та часть взглядов и представлений, которая имеет социальный вектор^[6].

Но, с другой стороны, в начале XX в. существовало иное, широкое понимание идеологии как системы идей, где идея — любое шевеление в мозгу. В связи с этим возникает вопрос, что же именно понимал под идеологией автор «Марксизма и философии языка»? В зависимости от этого можно считать верным или неверным то или иное его утверждение. Если идеологию понимать узко, то автор прав, и идеология действительно семиотична, и там, где нет знакового выражения, нет и идеологии. В этом случае социальные символы, такие как свастика или красная звезда, играют совершенно исключительную роль, перетягивая на себя гигантскую часть взглядов, представлений, образов и т. д. и практически затушевывая ту содержательную часть, которая составляет стержень той или иной идеологии. Но если понимать под идеологией содержание как таковое, то есть систему любых представлений и взглядов, то в этом случае согласиться с автором нельзя. Поскольку иначе придется принять тезис (который, впрочем, в книге недвусмысленно проговорен), согласно которому не существует содержания вне знакового выражения^[7]. Мы начнем с этого комплекса весьма любопытных вопросов.

Итак, автор уверяет, что нет идеологии без знака, устанавливает связь между идеологией и знаком. Но от установления связи он переходит к отождествлению знака и идеологии. Идет от связи к уравниванию^[8]. Всякое слово для Бахтина —

Волошинова идеологично; идеологически нейтрального слова не существует, всякое слово социально ориентировано. Получается следующая картина. Есть два тезиса:

Тезис 1: Не существует идеологии вне знака.

Тезис 2: Не существует знака вне идеологии.

В случае узкого понимания идеологии первое верно, второе неверно. В случае широкого понимания идеологии второе верно, но зато первое неверно. Если мы понимаем идеологию как любую систему представлений, то она может существовать и вне своего знакового выражения. Если мы понимаем идеологию как социально ориентированную систему представлений, то не всякий знак идеологичен и не всякое слово социально окрашено. Эти выводы не являются результатом реинтерпретации, они всецело подтверждаются утверждениями автора: «Слово — идеологический феномен *par excellence*». И далее говорится прямо, что «вся действительность слова растворяется в его функции быть знаком. В нем нет ничего, что было бы равнодушно к этой функции и не было бы порождено ею. Слово — чистейший и тончайший *medium* социального общения»^[9]. Всё это отчасти верно, отчасти неверно, но то, что слово — феномен, главным образом, идеологический и всякое слово идеологично, это, конечно, не так.

О какой же идеологии идет речь? Хотя мы видим подмены, и можно решить, что автор намеренно не различает два термина *идеология*, что он манипулирует ими, на самом деле в тексте есть явные признаки того, что узкосоциологическое понимание идеологии автору не чуждо, и это для нас очень важно, поскольку, если мы устанавливаем наличие социального вектора в понимании идеологии у Бахтина — Волошинова, то их книга моментально предстает перед нами как образчик тоталитарной идеологии. А в книге говорится: «Индивидуальное сознание есть социально идеологический факт»^[10]. Следовательно, речь всё-таки идет о том, что не существует слова, не ориентированного идеологически. Если вы на улице задаете встречному вопрос «как пройти?» или «который час?», то оказывается, вы совершаете социально-идеологический акт. Отсюда следует вывод о языке как о надстройке. Если всякое слово и всякое использование языка идеологично, следовательно, язык есть надстройка. И в этом автор книги сближается с Марром.

Если язык рассматривается как надстройка, то не стоит удивляться, что на 31-й странице знак уже рассматривается не больше, не меньше как арена классовой борьбы. Цитирую:

«<...> одним и тем же языком пользуются разные классы. Вследствие этого в каждом идеологическом знаке скрещиваются разнонаправленные акценты».

Слово *акцент* здесь не поддается интерпретации, это метафора, которую очень трудно прояснить.

«Знак становится ареною классовой борьбы.

Эта социальная *многоакцентность* идеологического знака — очень важный момент в нем. Собственно только благодаря этому скрещению акцентов знак жив и подвижен, способен на развитие. Знак, изъятый из напряженной социальной борьбы, оказавшийся как бы по ту сторону борьбы классов, неизбежно захиреет, выродится в аллеорию, станет объектом филологического понимания, а не живого социального разумения. Таких умерших идеологических знаков, не способных быть ареною столкновения живых социальных акцентов, полна историческая память человечества. Но все же, поскольку о них помнит филолог и историк, они еще сохраняют последние проблески жизни»^[11].

Это первый симптом ненависти авторов к филологии. С точки зрения авторов этой книги, получается, что филология и история — гробовщики на кладбище культурной памяти человечества. Мало того, что всякое слово идеологично, всякое слово оценочно, о чем написано черным по белому на 123-й странице:

«Теперь перейдем <...> к проблеме *взаимоотношения оценки и значения*. Всякое слово, реально сказанное, обладает не только темой и значением в предметном, содержательном смысле этих слов, но и *оценкой*, т. е. все предметные содержания даются в живой речи, сказаны или написаны в соединении с определенным *ценностным акцентом*. Без ценностного акцента нет слова».

То есть, спрашивая дорогу на улице у прохожего, вы, наряду с прочим, высказываете оценку. Вместе с тем, утверждение о том, что каждое слово оценочно, напоминает статью Ленина «Партийная организация и партийная литература», в которой сказано, что всякая литература партийна. Так же как вся литература партийна, всякое слово оценочно. Это несомненное преувеличение, один из многочисленных симптомов тоталитарной идеологии, нашедшей очень яркое и талантливое выражение на страницах «Марксизма и философии языка».

Дальше автор подступает к проблеме идеологии и сознания. Как не существует слова вне идеологии, точно так же и сознание существует лишь постольку, поскольку оно осуществлено в знаковой форме. Цитирую: «*Индивидуальное сознание есть социально идеологический факт*». Кроме того, говорится, что «*сознание может реализовать себя и стать действительным фактом лишь в материале знакового воплощения*»^[12]. Здесь еще не утверждается прямо, что сознание существует лишь постольку, поскольку оно реализовано в знаках. Но на других страницах автор высказывается еще более определенно: «<...> *переживание и для самого переживающего существует только в знаковом материале*. И вне этого материала переживания, как такого, вовсе нет»^[13]. То есть вне выражения нет пе-

реживаний. Другой пример: «Вне объективации, вне воплощения в определенном материале <...> сознание — фикция» (с. 107). Таким образом, пространство личности сужается до предела. Дальше ужимать нельзя, личности вообще нет — внутреннему, индивидуальному почти не оставлено места. Это тоже одно из проявлений тоталитарной идеологии, пронизывающей книгу. Автор просто отмахивается от хорошо знакомой романтикам проблемы невыразимого. «Невыразимого» не существует. Жуковский, написавший знаменитое стихотворение с таким названием, восклицавший *Невыразимое подвластно ль выраженью?*, Фет с его стихотворением «Как мошки зарею...» (*О, если б без слова // Сказаться душой было можно!*), Тютчев с его «Silentium!» (*Мысль изреченная есть ложь*) — это всё полная ерунда. Ибо любое выражение богаче содержания и содержание существует лишь постольку, поскольку оно выражено. Это очень напоминает главный тезис, которым *de facto* руководствовалась советская юриспруденция: «Признание — царяда доказательств» (его приписывают Андрею Януарьевичу Вышинскому, прокурору СССР в период показательных процессов 1930-х годов). Забавно при этом, что есть материал знакового выражения. Для автора «Марксизма и философии языка» это что угодно, даже прерывистое дыхание и учащенное сердцебиение. Зато «животный крик, как чистая реакция на боль индивидуального организма, лишен акцента. Это — чисто природное явление»^[14]. Вот ведь какая неувязка: животный крик — «чисто природное явление», а человеческий — «арена классовой борьбы».

А дальше автор уверяет, что не существует качественной границы между внутренним и внешним: «<...> между внутренним переживанием и его выражением нет скачка, нет перехода от одного качества действительности к другому качеству. Переход от переживания к его внешнему выражению совершается в пределах одного качества, является *количественным* переходом». И тут же на этой странице: «<...> всё совершающееся в организме может стать материалом переживания, ибо всё может приобрести знаковое значение, стать выразительным». Здесь же говорится, что <всё — это> «любое органическое движение или процесс: дыхание, кровообращение, телесное движение, артикуляция, внутренняя речь, мимическое движение, реакция на внешние, напр<имер,> световые раздражения и пр. и пр.»^[15] Значит, дыхание и кровообращение являются материалом знакового выражения. Почему при этом животный крик не является материалом знакового выражения, неясно. Я сел на кнопку, вскрикнул — это знак, а животное повизгивает, когда его колотишь палкой, — это чисто природная реакция.

Все эти идеи, между прочим, не очень оригинальны; такие мысли высказывали не только Бахтин с Волошиновым, и не они первые. В частности Шпет, например, уверял, что «форма и содержание — одно» и если бы вместо внешнего, слышимого слова «мы взяли <...> „внутренне“ данное <...> мы нашли

бы его менее „связным“, его значение и роль как сообщения была бы не столь ясна, но в своих предметных свойствах это слово существенно не отличалось бы от слова, слышимого из уст N» (из «Эстетических фрагментов»). По мнению Шпета, нет мышления без слова: «Слова — не свивальники мысли, а ее плоть. Мысль рождается в слове и вместе с ним. Даже и этого мало, — мысль зачинается в слове»^[16]. Эти идеи идут еще от Гумбольдта, которому посвящена книга Шпета. Похожие идеи высказывал Кроче^[17]. Но это всё общие рассуждения. Если брать работы выдающихся психологов-лингвистов, имевших дело с живым материалом, то их выводы в корне отличаются от умозрительных тезисов, которые я сейчас огласил. Например, Николай Иванович Жинкин, один из крупнейших наших психолингвистов, изучавший реальные механизмы речи, а не рассуждавший об общих вопросах, справедливо указывал, что «никому еще не удалось показать на фактах, что мышление осуществляется средствами только натурального языка. Это лишь декларировалось, но опыт обнаруживает другое» (эта статья напечатана в «Вопросах языкознания» в 1964 г.)^[18]. Еще до Жинкина об этом писал Лев Семенович Выготский, лучший отечественный психолог XX в., к сожалению, очень рано умерший (в возрасте 38 лет); в год смерти Выготского вышла его замечательная книга «О мышлении и речи» (1934). В этой книге, построенной на изучении детской речи и речевых патологий, автор делает вывод о том, что «единицы мысли и единицы речи не совпадают»; «мысль не совпадает не только со словом, но и со значениями слов, в которых она выражается». Всё это в книге доказано. Отталкиваясь от концепций Кроче, Шпета, Бахтина — Волошинова, Выготский настаивает на том, что «переход от внутренней речи к внешней представляет собой не прямой перевод с одного языка на другой», «не простую вокализацию внутренней речи», а ее «переструктурирование», «сложную динамическую трансформацию». Существует «грань, <от>деляющая мысль от слова, непереходимый для говорящего Рубикон, отделяющий мышление от речи» (с. 311–313 по первому изданию)^[19]. Еще процитирую Жинкина, который в своей работе 1964 г. обращает внимание на то, что основной единицей внутренней речи является не слово, а образ; соответственно, выражением внутренней речи оказывается не словесный, а образный или, как его называл сам Жинкин, «универсальный предметный код». Вы можете смотреть на картину 10 секунд, а потом рассказывать о ней 20 минут. Даже этого элементарного примера достаточно. Всё это заставляет задуматься о незнакомой природе «внутренней речи» и «внутреннего слова»: смысл, являющийся основной реальностью психологии мышления, принципиально асемiotичен^[20].

Из всех этих тезисов вытекает один частный, но тоже весьма любопытный тезис о том, что внешнее в любом случае важнее и ценнее внутреннего. Он иллюстрируется соотношением замысла и воплощения. «Замысел всегда

меньше создания (даже неудачного)», — пишут Бахтин с Волошиновым ^[21]. Представляете себе, автор хотел создать какое-нибудь эпическое полотно, а написал одну строчку, и ту корявую. Так вот эта строчка есть нечто весьма значительное, а грандиозный замысел умер. Он был ничтожен и убог. Но кривая строчка в любом случае больше самого грандиозного замысла.

Теперь я хочу остановиться на тоталитарной идеологии. Ведь ее рецидивы мы наблюдаем и сегодня буквально на каждом шагу. Проявлений тоталитарности мышления в книге очень много. И два примера, не имеющих, может быть, отношения к основной теме книги, я хотел бы вам привести.

«Основная идея всей нашей работы — *продуктивная роль и социальная природа высказывания* — нуждается в конкретизации: необходимо показать ее значение не только в плане общего мировоззрения и принципиальных вопросов философии языка, но и в частных и частнейших вопросах языкознания. Ведь если идея верна и продуктивна, то эта продуктивность ее должна обнаруживаться сверху донизу» ^[22].

Например, идея Бахтина о карнавальности культуры у Рабле начинает работать так: наша жизнь — карнавал, любое проявление жизни — карнавал, любое произведение — карнавал; что ни возьми в руки, всё карнавал. Идея же «продуктивна сверху донизу». На самом деле продуктивная идея — это только такая идея, которая верна в определенных границах. Продуктивная научная идея — это идея, относительно которой более или менее ясны границы ее применимости. Продуктивные идеи — это ограниченные идеи.

А вот другой тезис (с. 119):

«Определенное и единое значение, единый смысл, принадлежит всякому высказыванию как *целому*. Назовем этот смысл целого высказывания его *темой*. Тема должна быть едина, в противном случае у нас не будет никаких оснований говорить об одном высказывании».

Возьмем, например, «Гамлета»: это высказывание Шекспира, и тема у этой трагедии едина. Я не буду комментировать, а предоставлю слово Борису Исааковичу Ярхо (так же, как я только что предоставлял его Жинкину и Выготскому). Мои сегодняшние слова — это манифестация моей научной идеологии, которая помогает мне отделить науку от лженауки. Книга Бахтина и Волошинова — яркий пример лженауки. А вот что пишет ученый (кстати, мы не обязаны с ученым соглашаться — я, например, во многом с Ярхо не согласен; но он — ученый). Вот что пишет Ярхо о теме:

«Близко к мотиву по своей природе подходит „тема“. Это такая же произвольная абстракция, ставящая себе, однако, безнадежную цель в одной фразе обобщить все сюжетное содержание произведения. В самом деле, тему можно определять как угодно широко и как

угодно узко. Какова, напр<имер>, тема „Песни о Роланде“? Война? война за веру? война христиан с маврами? война Карла Великого за веру и славу Франции?..... Но беда не только в произвольности обобщения: можно совершенно различно определять тему одного и того же произведения. Напр<имер>, тема той же «Песни о Роланде»: измена Ганелона, или гибель юного героя, или героическая миссия французов в христианском мире... Можно прямо сказать, что разве только в микропозмах, состоящих из одного предложения, может быть одна тема, да и то сомнительно. Напр<имер>: „Распроклятая машина / Мово друга утащила“. Здесь, вернее всего, только одна тема — „разлука с милым“, „отъезд милого“, но при желании можно найти и другую, а именно „недовольство железной дорогой, вызывающей непоседливость деревенских жителей, разрушающей местные связи“.

Но в любом тельце чуть-чуть побольше уже всегда можно обнаружить больше одной темы.

Кабы знала его совесть, не любила бы его<,>
По среди реки Онеги утопила бы его.

Темы — ламентация покинутой, неверный любовник, жажда мести.

Здесь сказывается тот закон, о котором я говорил выше — невозможность свести микроскопы к одному принципу. В этом литературоведении солидарно с естествензнанием. Тема всегда будет только одним из мотивов, произвольно выхваченным и возведенным в неприсвоенное ему достоинство. Поэтому, мне кажется, лучше вообще отрешиться от этого термина, т<ак> к<ак> заключающаяся в нем исконная произвольность может оказаться, да часто и оказывается, вредной при сравнениях»^[23].

Заканчивая разбор первой части, можно сказать, что здесь много неоригинального. Например, мысль о том, что идеология должна быть выраженной, не только повторяет идеи Шпета — это одна из основных идей книги Кассирера «Философия символических форм». Чтобы судить о степени соотношения оригинального и неоригинального, я прочитаю вам выводы одного из разделов первой части (с. 29):

- «1) Нельзя отрывать идеологию от материальной действительности знака <...>
- 2) Нельзя отрывать знак от конкретных форм социального общения <...>
- 3) Нельзя отрывать общения и его формы от их материального базиса».

Итог (по принципу транзитивности): нельзя отрывать идеологию от базиса. Это самая что ни на есть марксистская банальность. Кроме Шпета и марксизма остается одно — знак социален. Но это такая же банальность для Сосюра. То есть перед нами набор банальностей, который при этом сопровождается крайностями, составляющими существо анализируемой книги.

* * *

Переходим ко второй части. Она имеет отношение к проблематике общего языкознания. Автор выделяет два направления в современном ему языкознании, для

каждого из которых находит по ругательству. Одно направление он называет абстрактным объективизмом, а другое — индивидуалистическим субъективизмом^[24]. Родоначальником абстрактного объективизма он считает Лейбница, индивидуалистического субъективизма — Гумбольдта. Крупнейшим представителем первого направления в современной лингвистике называет Соссюра и соссюрианцев, крупнейшим представителем второго — Фосслера и его школу, а также Кроче с его книгой «Эстетика как наука выражения и как общая лингвистика». Вот что хорошо и правильно: первое направление автор «Марксизма и философии языка» называет классицизмом (я бы говорил о неоклассицизме в лингвистике), а другое направление — соответственно, романтизмом. Гумбольдтианство — это, конечно, чистый лингвистический романтизм. Верно и то, что различия между двумя направлениями рассматриваются в рамках антиномии «ἔργον — ἐνέργεια» (где ἔργον — это продукт, ἐνέργεια — процесс)^[25]. Гумбольдт прямо писал о том, что язык есть деятельность, Соссюр прямо писал о том, что язык — не деятельность, а продукт^[26]. И, наконец, для представителей первого направления язык — это социальная норма, а для представителей второго язык есть индивидуальное творчество. Обозначив эту антиномию (не могу сказать «наметив», так как намечена она была еще в 1927 г. в статье Шор^[27]), автор переходит к критике обоих направлений, пытаясь вместо тезиса и антитезиса предложить некий синтез. Это не первая попытка синтеза гумбольдтианства и соссюрианства, предпринятая в нашем языкознании в 1920-е годы, — если не первая, то одна из первых принадлежит Винокуру. Он говорил о том, что язык — это ἔργον, а речь — это ἐνέργεια^[28]. Казалось бы очень просто, но совершенно неверно. Поскольку, с одной стороны, если мы берем речь, то она является не только процессом, но и продуктом (это демонстрирует любое художественное произведение), а, с другой стороны, язык является не только продуктом, но и процессом, так как язык непрерывно меняется. Значит, и язык, и речь суть и ἔργον, и ἐνέργεια. Бахтин — Волошинов предлагает более сложную попытку синтеза — это отмечали уже рецензенты, например, Александр Ильич Ромм, член Московского лингвистического кружка, старший брат знаменитого кинорежиссера, первый переводчик «Курса общей лингвистики» Соссюра (перевод его так и не был опубликован, по не зависящим от переводчика обстоятельствам). В своей недописанной рецензии Ромм справедливо замечает, что Соссюра Волошинов опровергает, используя несколько подновленную версию Фосслера^[29]. Критика соссюрианства строится прежде всего на тезисе об ирреальности системы. Для Соссюра язык — это система, социальная норма и т. д. Автор «Марксизма и философии языка» пишет: «<...> мы окажемся перед непрерывным становлением норм языка»; «<...> никакой неподвижной системы себестождественных норм мы не найдем». И далее:

«Для стоящей над языком объективной точки зрения — нет реального момента, в разрезе которого она могла бы построить синхроническую систему языка.

Синхроническая система, таким образом, с объективной точки зрения, не соответствует ни одному реальному моменту процесса исторического становления. И действительно, для историка языка, стоящего на диахронической точке зрения, синхроническая система не реальна и служит лишь условным масштабом для регистрирования отклонений, совершающихся в каждый реальный момент времени»^[30].

Такая критика будет верна, если принимать во внимание крайние формы выражения этих идей в «Cours de linguistique générale» Соссюра, где, действительно, совершенно разнесены синхрония и диахрония. Но в том же 1929 г. были опубликованы тезисы Пражского лингвистического кружка, написанные Якобсоном, Матезиусом, Мукаржовским и Гавранеком, в которых снимается антиномия синхронии — диахронии и говорится о том, что вся эволюция тоже системна, она рассматривается как постепенная смена систем^[31]. Бахтин и Волошинов постоянно подчеркивают динамическое начало, противопоставляют устойчивый и себестоительный сигнал (крик животного) гибкому и изменчивому знаку. Здесь имеет место гипертрофия нового, гипертрофия коммуникативной функции языка в ущерб другим языковым функциям. А на самом деле человеческая культура избыточна, человек с трудом воспринимает новое и очень любит, когда ему повторяют старое. Человеку присуща тяга к стабильности, узнаванию. Отсюда опять-таки вытекает антифилологизм авторов, который позволяет рассматривать их книгу как первое по времени выражение постмодернистской идеологии. Антифилологизм еще не вполне развился, а уже видны зачатки того, что позже станет называться постмодерном. Сейчас я приведу цитаты, которые можно назвать поэтической кульминацией этой книги, в них выражена самая настоящая ненависть к филологии как таковой:

«В основе тех лингвистических методов мышления, которые приводят к созданию языка, как системы нормативно тождественных форм, лежит *практическая и теоретическая установка на изучение мертвых чужих языков, сохранившихся в письменных памятниках.*

Нужно со всею настойчивостью подчеркнуть, что эта филологическая установка в значительной степени определила всё лингвистическое мышление европейского мира. Над трупами письменных языков сложилось и созрело это мышление; в процессе оживления этих трупов были выработаны почти все основные категории, основные подходы и навыки этого мышления.

Филологизм является неизбежно чертою всей европейской лингвистики, обусловленной историческими судьбами ее рождения и развития. Как бы далеко в глубь времен мы ни уходили, прослеживая историю лингвистических категорий и методов, мы всюду встречаем филологов. Филологами были не только александрийцы, филологами были и римляне и греки (Аристотель — типичный филолог); филологами были индусы.

Мы можем прямо сказать: *лингвистика появляется там и тогда, где и когда появились филологические потребности.* Филологическая потребность родила лингвис-

тику, качала ее колыбель и оставила свою филологическую свирель в ее пеленах. Пробуждать мертвых должна эта свирель. Но для овладения живой речью в ее непрерывном становлении у нее не хватает звуков»^[32].

Таким образом, пафос книги — оставьте мертвым погребать своих мертвецов^[33]. А мертвые, погребаящие этих мертвецов, — это филологи. Однако всё, что здесь написано, неверно. Неверно, что лингвистика развилась из филологии, поскольку толкованиями, скажем, Гомера и вообще собиранием текстов греки занимались с VI века, и филология уже была. А лингвистика появилась очень поздно, действительно в Александрии, но вовсе не была филологична, а была связана с тем, что греки впервые оказались в условиях иноязычного окружения (в Александрии жили не только греки). И доказательством того, что лингвистика была нефилологична, является то, что объектом этой александрийской лингвистики был не гомеровский язык, который уже нуждался в толковании, а общегреческое койне. И на протяжении всего древнегреческого периода филологической мысли, когда греки занимались собиранием, изданием и комментированием памятников, лингвистика пребывала в совершенно убогом состоянии (в частности, у того же самого Аристотеля аппарат совершенно убогий). А качественное развитие лингвистики произошло именно в Александрии, когда надо было обучать своему языку тех, кто этого языка не знает. Лингвистика развилась не из филологических, а из педагогических потребностей и была направлена не на мертвый язык (стадию древнегреческого языка), а на живой язык, на современное койне. Неверно это и по отношению к древнеиндийской грамматике, которая сама стала объектом филологического толкования и ни в коей мере не была связана с задачами филологической интерпретации. Это полное вранье, зато как красиво выражено! Пафос книги — борьба с логоцентризмом, борьба за живое, свое, устное слово против мертвого, чужого и письменного. Борьба за газетную передовицу против Гомера, Вергилия, Данте, Шекспира и Пушкина. Пафос книги вполне созвучен пафосу «Интернационала»: *Мы наш, мы новый мир построим*. Новое ценно, а старое нужно разрушить до основания.

От «живого слова» можно перейти к другой идее Бахтина — Волошинова, к идее монолога и диалога. В противопоставление живого мертвому, нашего чужому, устного письменному хорошо вписывается противопоставление монолога диалогу:

«<...> мертвый-письменный-чужой язык — вот действительное определение языка лингвистического мышления.

Изолированное-законченное-монологическое высказывание, отрешенное от своего речевого и реального контекста, противостоящее не возможному активному ответу, а пассивному пониманию филолога, — вот последняя данность и исходный пункт лингвистического мышления»^[34].

Монолог — это плохо, диалог — это хорошо. Автор даже делает следующий вывод: никаких монологов нет. Всякий монолог есть скрытый диалог:

«<...> монологическое высказывание является уже абстракцией, правда, так сказать, естественной абстракцией. Всякое монологическое высказывание, в том числе и письменный памятник, является неотрывным элементом речевого общения. Всякое высказывание, и законченное письменное, на что-то отвечает и установлено на какой-то ответ. Оно — лишь звено в единой цепи речевых выступлений. Всякий памятник продолжает труд предшественников, полемизирует с ними, ждет активного, отвечающего понимания, превосходит его и т. п. Всякий памятник есть реально неотделимая часть или науки, или литературы, или политической жизни. Памятник, как всякое монологическое высказывание, установлен на то, что его будут воспринимать в контексте текущей научной жизни или текущей литературной действительности, — т. е. в становлении той идеологической сферы, неотрывным элементом которой он является.

Филолог-лингвист вырывает его из этой реальной сферы, воспринимает так, как если бы он был самодовлеющим, изолированным целым, и противопоставляет ему не активное идеологическое понимание, а совершенно пассивное понимание, в котором не дремлет ответ, как во всяком истинном понимании. Этот изолированный памятник, как документ языка, филолог соотносит с другими памятниками в общей плоскости данного языка»^[35].

Вот что такое активное идеологическое понимание. Препарация памятника, приспособление его к нуждам эпохи названо живым пониманием, а филологическое понимание, призванное реконструировать контекст и понять произведение в контексте его создания, — оказывается,дохлое, мертвое. Между прочим, существует принципиальная разница в понимании научных и художественных произведений — именно потому, что наука всегда релевантна в отношении антиномии «истинное — ложное». В науке нас всегда интересует, правда это или неправда, так это или не так, а если так, то в какой степени. Когда же мы сталкиваемся с тем или иным произведением искусства, например, с картиной, где есть явные искажения действительности, несмотря на то, что сам автор, будь то импрессионист или кубист, позиционирует себя как реалиста (это изложено в блистательной статье Якобсона «О художественном реализме»^[36]), вопрос истинности нас не интересует. Поэтому мы готовы принимать и натурализм, и импрессионизм, и символизм, и кубизм, и что угодно, не разрываясь при этом от противоречий. В произведении искусства мы оцениваем адекватность выражения содержанию, а не степень истинности этого содержания.

В связи с гипертрофией диалогичности я приведу пример из Карамзина. Стихотворение «Кладбище» 1792 года — пример того, что есть диалогичность в литературе. Стихотворение построено в форме диалога. Один голос рисует картину заморского сна исключительно в мрачных тонах, другой — исключительно в светлых. На каждый голос отводится равное количество стихотворных строк, одинаковое

метрическое пространство. Симметричные реплики чередуются через одну, каждая занимает по три строки. Казалось бы, полярные точки зрения на жизнь после жизни представлены поровну, не отдается предпочтение ни той, ни другой. Однако мрачный голос в этом дуэте начинает, а светлый заканчивает. Поэтому стихотворение воспринимается как гимн вечному покою. Авторская позиция заявлена исключительно с помощью композиционных форм. В этом заключено одно из принципиальных различий эстетического языка и бытового: в повседневном диалоге вовсе не всегда выигрывает тот, за кем остается последнее слово. Так за мнимой диалогичностью композиции скрывается монологичность художественного высказывания³⁷.

На самом деле только филологизм позволяет вскрыть подлинную диалогичность произведения. Возьмем, к примеру, «Домик в Коломне». Очень многое в этой поэме является непосредственным откликом на современную литературную ситуацию, даже на бытовую, житейскую ситуацию, на критические высказывания и т. д. и т. п. Готовя поэму к печати, Пушкин последовательно устранил следы прямой реакции на житейские стимулы. То есть Пушкин последовательно монологизировал свое произведение. Только филолог может обнаружить диалогичность, скрытую в «Домике в Коломне» за монологичностью. Но эта диалогичность не является неотъемлемым свойством всякого произведения как такового.

Еще два слова скажу о требовании «активного понимания». Бахтин — Волошинов утверждает, что вопрос «„который час?“ имеет каждый раз другое значение <...> в зависимости от той конкретной исторической ситуации <...> во время которой <он> произносится и частью которой, в сущности <...> является»^[38]. Если бы дело обстояло так, тогда нормой ответа на этот вопрос был бы ответ Чацкого в «Горе от ума». Репетилов спрашивает: *Скажи, который час?* Чацкий отвечает: *Час ехать спать ложиться; // Коли явился ты на бал, // Так можешь воротиться.* Вот активная реакция, к которой нас призывает Бахтин. А другой поэт выражал свое недовольство активным ответом на тот же вопрос: *И Батюшкова мне противна спесь, // Который час, его спросили здесь, // А он ответил любопытным: вечность!*^[39] То есть, если на вопрос *который час?* ответить, который час, то это, по мнению Бахтина — Волошинова, является мертвым филологическим пониманием. Иными словами, автор нас призывает не понять, а использовать, приспособить или, как это называется на его языке, «вступить в диалог». Это чистой воды тоталитаризм. Такое же приспособление проявляется и в критике фосслеризма. Если у Соссюра плохо то, что язык — неизменная система, то у Фосслера плохо то, что это индивидуальное творчество. И тут — опять смычка с постмодерном, предвосхищение идеи о «смерти автора». Надо отнять у автора его право на собственность, текст — не собственность автора, а наша собственность. Слово, как утверждает Бахтин — Волошинов, всегда в равной степени определяется тем, кто

говорит, и тем, для кого это говорится. Это другая сторона концепции диалогичности. «Значение ориентации слова на собеседника — чрезвычайно велико. В сущности слово является двухсторонним актом. Оно в равной степени определяется как тем, *чье* оно, так и тем, для *кого* оно»^[40]. Это неверно. Не всегда и не «в равной степени». Если говорит политик, философ, проповедник или математик, слова их в разной степени зависят от того, кому они говорят, и в каком контексте они говорят. Понятно, что слово политика в меньшей степени будет определяться тем, кто говорит, а в большей степени тем, кому он говорит. Потому что политик, как правило, говорит то, что избиратель хочет услышать. А скажем, философ, как правило, говорит то, что думает. Проповеднику важно донести свою мысль до паствы, а математику не важно донести свою мысль до паствы, он не будет приспособливать свой математический трактат к понимаемым способностям аудитории. Он может написать так, что его не всякий поймет, потому что ему нужно выразить некий комплекс математических идей в доказательной, адекватной, математической форме. Таким образом, зависимость содержания от выражения, с одной стороны, и зависимость выражения от аудитории, с другой стороны, будет разной в зависимости от жанра, сферы культуры, в которой происходит речевой акт и т. д. и т. д. Чтобы произведение было живым, необходимо втянуть его в контекст повседневности, приспособить его к текущим идеологическим нуждам. Выражение зависит от контекста, значение зависит от контекста, меняется контекст — меняется значение. Меняя контекст, мы меняем значение; следовательно, мы авторы, а автор — не автор.

Но вот контрпример: стихотворение Хлебникова «Бобэоби пелись губы...». Как содержание этого стихотворения зависит от собеседника? Почему губы — бобэоби? Как читатель это определит? Как собеседник на это влияет? Зато изнутри интерпретировать этот текст можно. Его можно понять, занимая герметическую филологическую позицию, которая так ненавистна Бахтину — Волошинову. Но этот текст невозможно понять, исходя из социального контекста. С другой стороны, исходя из социального контекста, можно объяснить многие эксперименты Крученых, но они опровергают утверждение того же самого Бахтина — Волошинова, что каждое выражение обязательно имеет содержание. Если прагматику не включать в содержание (семантика отдельно, прагматика отдельно, синтактика отдельно), тогда какую семантику имеет *дыр бул щыл*? Прагматика очевидна, синтактика очевидна, а семантика? Никакой семантики *дыр бул щыл* не имеет. Или тогда всё содержательно, всё имеет значение, но зачем в таком случае мы отделяем одно от другого? Это путь неразличения; автор идет по нему, не различая понятия, постоянно выдавая одно за другое. Вся книга строится на одних *qui pro quo*.

Один из главных тезисов этой книги, самый оригинальный и совершенно недоказанный, заключается в том, что структура произведения, высказывания

определяется ближайшим социальным контекстом. «*Организирующий центр всякого высказывания, всякого выражения — не внутри, а во-вне*»^[41]. Всё это есть покушение на права автора. «Смысл слова всецело определяется его контекстом. В сущности, сколько контекстов употребления данного слова, — столько его значений»^[42]. Соответственно, если вне зависимости от автора меняются контексты, то он не управляет содержанием собственного произведения. Вот вывод, который отсюда следует.

Произведение должно изменить свой смысл, чтобы быть живым, чтобы можно было приспособить его к современности, чтобы добиться той активности понимания, которая пропагандируется в книге. Долой мертвое, письменное, чужое! Да здравствует живое, устное, свое! Текст можно урезать или как угодно исказить, приспособить к нуждам эпохи. Мы отнимаем у автора его права, а дальше делаем с текстом всё, что хотим. Это ли не постмодернизм? Другая же позиция называется мертвой. Неудивительно, что авторы этой книги не филологи и не лингвисты. Волошинов защищал диссертацию по литературоведческой кафедре, а Бахтин — очевидным образом философ, а не филолог или лингвист. Философ, который всю жизнь вчитывал в изучаемые тексты и изучаемый предмет (язык, литературу) свое, свою собственную идеологию. Что он хочет, то он из текста и извлекает, сам становится автором. Если можно вкладывать свою идеологию в уста Рабле или Достоевского, то неудивительно, что ее можно вкладывать в уста Волошинова или Медведева.

Всё это сказывается на решении конкретных лингвистических вопросов. Возьмем, к примеру, тезис о том, что смысл слова всецело зависит от контекста. Отрицание языковой системности и языковой нормы Бахтин — Волошинов доводит до абсурда. Посмотрите, к каким противоречиям, не ощущаемым самим автором, приводит эта позиция. Говорится, что «определенное и единое значение, единый смысл, принадлежит всякому высказыванию как *целому*», и тут же идет рассуждение о том, что высказывание *который час* каждый раз имеет иное значение (с. 119). А на следующей странице мы читаем: «Под значением, в отличие от темы, мы понимаем все те моменты высказывания, которые *повторимы и тождественны себе* при всех повторениях. <...> Значение высказывания „*который час?*“, — одинаковое, конечно, во всех исторических случаях его произнесения, — слагается из значений входящих сюда слов, форм их морфологической и синтаксической связи, вопросительной интонации и т. д.» (с. 120). Вот как пишутся книги, которые потом столетиями будоражат умы, стимулируют научную мысль, воспринимаются как высшие достижения культурного человечества.

Вспомним, что сказано на с. 95: «Смысл слова всецело определяется его контекстом». И тут же говорится, что смысл высказывания зависит как от говорящего,

так и от слушающего. Это чистое фосслеррианство, только с одной поправкой: от автора тоже ничего не зависит, а зависит всё от социального контекста. То есть язык — это такой непрерывный диалог, который мы постоянно творим, а он постоянно меняется, и слову можно придать любое значение. На самом деле значение слова не всегда и не всецело определяется контекстом. В гораздо большей степени значение слова определяется не контекстом, а узусом, — оно, как правило, не окказионально, а узуально. Есть, конечно, такие слова, чье значение целиком определяется контекстом, — это слова-пустышки. Например, слово *штука*. Мотоцикл — это такая штука и крокодил — это такая штука. По Бахтину — Волошинову оказывается, что все слова таковы, все слова — это слова-пустышки с гипертрофированной установкой на диалогичность, гипертрофированной установкой на коммуникативность, гипертрофированной новизной. С этим связана и гипертрофия многозначности. Число потенциальных контекстов бесконечно, следовательно, всякое слово всезначно — вот что хочет сказать нам автор. Тут опять смьчка с Марром. «Первобытный человек употреблял какое-нибудь слово для обозначения многообразнейших явлений, с нашей точки зрения ничем между собой не связанных. Более того, одно и то же слово могло обозначить прямо противоположные понятия — и верх и низ; и землю и небо; и добро и зло; и т. п.». А дальше цитируется Марр: «Достаточно сказать, что современная палеонтология языка дает нам возможность дойти в его исследовании до эпохи, когда в распоряжении племени было только одно слово для применения во всех значениях, какие только осознавало человечество»^[43]. Если слово всезначно, то зачем нам столько слов? Спектр значений расширяется, а палитра слов сужается. Зачем нам мертвый Вергилий, Шекспир или Пушкин с их мертвыми словами, да еще в определенных значениях, когда у нас есть живое, устное, всезначащее, свое слово? Что это за слово, мы понимаем, когда раскрываем книгу Бахтина — Волошинова на с. 124, где цитируется отрывок из дневника Достоевского. Писатель рассказывает, что слышал разговор, который шесть мастеровых вели при помощи всего лишь одного слова. Слова всезначащего, живого, своего, устного, совсем не письменного.

«Однажды в воскресенье, уже к ночи, мне пришлось пройти шагов пятнадцать рядом с толпой шестерых пьяных мастеровых, и я вдруг убедился, что можно выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием этого существительного, до крайности к тому же немногосложного (речь идет об одном самом распространенном нецензурном словечке. — В. В.). Вот один парень резко и энергически произносит это существительное, чтобы выразить об чем-то, об чем раньше у них общая речь зашла, свое самое презрительное отрицание. Другой в ответ ему повторяет это же самое существительное, но совсем уже в другом тоне и смысле, — именно в смысле полного сомнения в правдивости отрицания первого парня. Третий вдруг приходит в негодование против первого парня, резко и азартно связывается в разго-

вор и кричит ему то же самое существительное, но в смысле уже брани и ругательства. Тут вяжется опять второй парень в негодование на третьего, на обидчика, и останавливает его в таком смысле, „что, дескать, что ж ты так парень, влетел? Мы рассуждали спокойно, а ты откуда взялся — лезешь Фильку ругать!“ И вот, всю эту мысль он проговорил тем же самым одним заповедным словом, тем же крайне односложным названием одного предмета, разве только, что поднял руку и взял третьего парня за плечо. Но вот вдруг четвертый паренек, самый молодой из всей партии, доселе молчавший, должно быть вдруг отыскав разрешение первоначального затруднения, из-за которого вышел спор, в восторге, приподымая руку, кричит Эврика, вы думаете? Нашел, нашел? Нет, совсем не эврика и не нашел; он повторяет лишь то же самое нелекксиконное существительное, одно только слово, всего одно, но только с восторгом, с визгом упоения и, кажется, слишком уж с сильным, потому что шестому, угрюмому и самому старшему парню это не „показалось“, и он мигом осаживает молокососный восторг паренька, обращаясь к нему и повторяя угрюмым и назидательным басом да все то же самое, запрещенное при дамах существительное, что, впрочем, ясно и точно обозначало: „чего орешь, глотку дерешь!“ И так, не проговоря ни единого другого слова, они повторили это одно только, но излюбленное ими словечко шесть раз кряду, один за другим, и поняли друг друга вполне. Это факт, которому я был свидетелем!»^[44]

Вот тот уровень культуры, то богатство значений живого, своего, устного слова, к которому призывает нас автор.

2. 3-я часть, как ни странно, не имеет прямого отношения к проблематике книги и, по сути, к лингвистике

прямая речь, косв<енная> речь, несобственная прямая речь

Вэльфлин: линейный и живописный стиль

1а. догматический прям<ая> речь

1б. рационалистический косв<енная> речь

2а. реалистический и критический индивидуализм

2б. релятивистический индивидуализм

автор<ская> речь рассасыв<ается>

интересуют формы взаимопроникновения авторского и чужого слова

почему данное слово — чужое?

Как речев<ая> ситуация и собеседник воздействуют на стр<укту>ру высказывания

3.

автор призыв<ает> к ответственности за свои слова<, > а при этом скрывает свое имя, наводит тень на плетень — о какой ответственности можно говорить — безапелляционность

своими уклончивыми и противоречивыми ответами на вопрос об авторстве

Об антифилологизме, о ненависти к филологии

Статья посвящена одной из самых неприятных особенностей книги «Марк<сизм и философия языка>» — в духе времени — антифилологизму

Выражение и богаче замысла, и его беднее (акц<ентирована> только одна сторона). Тем, кто много и полно выразился (мастерам худ<ожественного>, поэт<ического> выраж<ения>) свойств<енно> сетовать на невыраз<имость>, на потери, на неполное соотв<етствие> воплощ<ения> замыслу<.> Но тому, кто в нескончаемом процессе, незавершенн<ое> кое-что — это всё-таки лучше и больше, чем ничего. Опять абсолютизация.

Комментарий к замыслу: (П<ушки>н?)

4.

— переоценивается момент новизны, важна повторяемость: новое поним<ается> (воспр<инимается>) как старое, классифицир<уется>, подводится под уже бывшее

— ценность узнавания (<...И> выпук<лую> радость узнаванья ^[45]): одни и те же книги, фильмы, песни

— критерий языковой правильности несуществен, поглощен — а в разг<оворе> с иностр<анцами>, с детьми, людьми других поколений, диалектов и социолектов<?>

— автор может не публ<иковать> оконч<ательного> произв<едения> по многу лет, ждать

— аванг<ардность>: установка на непонимание ^[46]

— оставьте мертвым погребать своих мертвецов

— филолог: чужое — с ним нельзя делать всё, что заблагорассудится. А понимание по Б<ахтину> — В<олошинову> — это превр<ащение> чужого слова в свое: как хочю, так и верчу.

— чужое слово — то, что адресовано не нам (раз адресов<ано> мне, то уже не чужое — напол<овину> принадлеж<ит> мне)<.> нельзя чит<ать> чужие письма (адрес<ованы> не мне); контекст меняется и меняет читателя → текст адресован не ему

— и процесс, и продукт (компьют<ерная> программа)<.> «Е<вгений> О<негин>». Норштейн ^[47]<.> не только усовершенствования, но и новые ошибки

мол<око> — прост<окваша> ^[48] — творог

в художественной литературе вымышленным (fiction) часто оказывается не только текст, но и контекст

Я к вам приду в коммунистическое далеко^[49]. Читателя найду в потомстве я^[50]. Потреплет лавры старика^[51].

монологизирующее высказывание

политик — разные избиратели хотят услышать разное <—> говорит так, чтобы ничего не сказать

всё карнавал (90)^[52]

понять другого — значит понять, что он хотел сказать, на что хотел намекнуть, возможно, что хотел скрыть — пределов непонимания не существует

поток — но даже устной речи часто свойственны рекуррентность, повторы, уточнения, исправления самого себя — что же говорить о письменной? — остановись, мгновенье^[53] — поток и целое — к вопросу о границах высказывания

Пушкин реагирует на Булгарина и Надеждина^[54], но они ли его собеседники? К ним ли он обращается? Чем это отличается от контекста в широком смысле слова? Чем реакция на чужие слова отличается от реакции на события? от предмета речи как такового? (ср. моделируемый, генерируемый контекст)

Одним высказыванием автор реагирует на многие — откуда же единство темы?

Лоскутность целого, условность высказывания, формальные признаки начала и конца могут противоречить друг другу (смена говорящего субъекта, законченность)

фрагмент оформляется как целое и целое оформляется как фрагмент

начало и конец в «Евгении Онегине» (посвящение, путешествие «Онегина») 316^[55]

автор сам не очень хорошо понимает, кому адресует свои тексты — не нам, но и не им. <В>се, что адресовано не прямо тебе, требует филологического подхода; всякое понимание не тебе адресованного высказывания по воле будет филологическим

изменчивость контекста

нет языка, но нет и текста (высказывания) — нет границ; почему остановился в своем нигилизме? чего не хватишь, ничего нет^[56]

есть только речевая деятельность (langage)

каждая (реплика) как диалог и каждая — как монолог; и слушаю — не понимаю; Она его не уважает^[57]

неадекватность Чацкого есть его монологичность (недиалогичность)

несобственно-прямая речь — вторжение автора в чужую речь, интерференция — лишь проявления монологичности

Б<ахтин> — В<олошинов> осуждает пониженную авторитарность высказывания («пониженный тематизм») [58] ← проблема чужих и как бы чужих слов отс<утствие> (гран<и> м<ежду>) ἔργων и ἐνέργεια у самого Б<ахтина>: отс<утствие> гр<ани> между высказываниями разных авторов, отсутствие законч<енных> произвед<ений>, перепис<ывание> одних и тех же законч<енных> произвед<ений> — процесс, а не результат, — авторитарность, абсолютизация себя гипертрофир<ованный> диалогизм <—> такая же абстракция, как гипертрофир<ованный> монологизм

нельзя рассм<атривать> отдельно форму и сод<ержание> — но в самой книге Б<ахтина> — В<олошинова> идеи Б<ахтина> отд<елены> от их оформ<ления> у В<олошинова>

творчество несистематично 186 [59]: а Гегель? а Ярхо? полная противоположность Бахт<ину>, но тоже один из наибол<ее> крайних — и наиболее одиноких — и наиб<олее> оригинальных умов, занимавш<ихся> поэтикой. Если у Бахт<ина> — часто теория и никаких (почти) фактов, никакой методологии, то у Ярхо>, наоб<орот>, богатство фактов и методов при редуцир<ованных>, или ошибочных, или имплицит<ных> теориях

повыш<енная> знач<имос>ть худ<ожественного> слова

худ<ожественные> произвед<ения> им<еют> повыш<енную> цен<ность> всл<едствие> своей приспособляемости (за счет пониж<ения> диалогичности! — легче изымаются из контекста и меньше с ним связаны)

связь с тотал<итарной> идеологией отнюдь не марксизма, к<ото>рый имеет во многом чисто внешний характер

идеология как семантика (211) В 17, 15 [60]

высказ<ывание> — не ст<олько> вещь, ск<олько> процесс (240) [61]

высказ<ывание> — капля в потоке [62] (как отдел<ить> одну каплю от другой? никаких «капель» в потоке нет — катахреза<)>

монолог по сути — диалог по форме (Чехов)

всё — оценочно (оценочность — св<ойст>во тотал<итарного> языка) 245<,> В 17 [63]

вульгаризац<ия>, радикализация, абсолютизация — тот<алитариз>м

одиночество Б<ахтина> — диалог<ичнос>ть

исслед<ователь> не входит в контекст. Ничтожное к<оличес>тво текстов создано в расчете на исследователя

304 уравнивание монолога и диалога — намек на возможность такой трактовки проскальз<ывает> один раз в бахт<инском> чернов<ике>, чтобы быть тут же отвергнутой и уже больше никогда не встретиться [64]

Приложения

307 неверно, что мысль становится действительной, только если ее сообщить другому^[65]: я что-то понял, и это меняет мои поступки

границы высказывания: реплика как высказывание, персон<аж> как высказывание, пьеса как высказывание, всё тв<орчест>во как высказывание (Шпет)^[66]

бывает, что говорящий меняет свою точку зрения во время в процессе высказывания или меняется контекст («Евгений Онегин»)

незавершенность как стиль работы 329^[67]

монололизация: элиминируется не только контекст, не только адресат, но и адресант (убираются собственные реакции), самоограничение автора — объективация

книга не отвечает на вопрос и даже не ставит вопрос, почему авторы отличаются друг от друга

марксистское = хорошее

антиэмпиризм, антипозитивизм

идеология — социальна (В. 30)^[68]

антифилологизм (В. 30–31, ср. Ромм)

вне знакового материала нет переживания № <В.> 37

замысел меньше создания <В.> 43

формализм <—> абстрактный объект. В 70

языка нет (нет момента, когда бы язык не менялся) — в этом же смысле и высказывания нет

понимание (П<ушки>н непонятнее Хлеб<никова>)

Примечания

^[1] См. Державин 1929; Лоя 1929; Шор 1929; Ромм 1995.

^[2] См. Иванов 1973.

^[3] Бочаров 1993, 73.

^[4] См. Гаспаров 1979а.

^[5] Формулировки «Словаря русского языка» С. И. Ожегова и малого академического «Словаря русского языка в 4 томах» под редакцией А. П. Евгеньевой.

^[6] См. Шапир 1990г.

^[7] См. Волошинов 1929, 18.

^[8] Ср.: «Все идеологическое обладает значением: оно представляет, замещает нечто вне его находящееся, т. е. является знаком. Где нет языка — там нет и идеологии»; «Область идеологии совпадает с областью знаков. Между ними можно поставить знаки равенства. Где знак — там и идеология» (Волошинов 1929, 15, 17).

- ⁹ Волошинов 1929, 21.
- ¹⁰ Волошинов 1929, 19.
- ¹¹ Волошинов 1929, 31–32.
- ¹² Волошинов 1929, 19, 18.
- ¹³ Волошинов 1929, 37.
- ¹⁴ Волошинов 1929, 30.
- ¹⁵ Волошинов 1929, 37.
- ¹⁶ Шпет 1922–1923, II: 101, 15–16, 43; ср. Шапир 1990в, 314.
- ¹⁷ См. Шапир 1990в, 315 примеч. а.
- ¹⁸ Жинкин 1964, 37; ср. Шапир 1990в, 314–315.
- ¹⁹ Ср. Шапир 1990в, 315.
- ²⁰ Ср. Шапир 1990в, 315.
- ²¹ Волошинов 1929, 43.
- ²² Волошинов 1929, 12.
- ²³ Ярхо 2006, 44–45.
- ²⁴ См. Волошинов 1929, 58 и далее.
- ²⁵ См. Волошинов 1929, 59, 69.
- ²⁶ См. Humboldt 1836, 41; Saussure 1916, 30.
- ²⁷ См. Шор 1927, 71 и др.; ср. ссылку на эту работу: Волошинов 1929, 58 примеч. 1 [к с. 57].
- ²⁸ См. Винокур 1923б, 105–108; ср. Шапир 1990в, 275–276 примеч. 19.
- ²⁹ Ср. Ромм 1995, 201 и далее.
- ³⁰ Волошинов 1929, 79.
- ³¹ См. Navránek, Jakobson, Mathesius, Muкаřovský 1929.
- ³² Волошинов 1929, 85–86.
- ³³ Мф 8: 22; Лк 9: 60.
- ³⁴ Волошинов 1929, 88.
- ³⁵ Волошинов 1929, 87.
- ³⁶ См. Jakobson 1981, 723–731.
- ³⁷ Ср. Шапир 2000, 23; полный текст стихотворения см. в редакторском примеч. 2 на с. 454 [к с. 453] в наст. изд.
- ³⁸ Волошинов 1929, 119.
- ³⁹ О. Мандельштам, «Нет, не луна, а светлый циферблат...» (1912).
- ⁴⁰ Волошинов 1929, 102.
- ⁴¹ Волошинов 1929, 111.
- ⁴² Волошинов 1929, 95.

Приложения

- ⁴³ Волошинов 1929, 121.
- ⁴⁴ Волошинов 1929, 124–125.
- ⁴⁵ О. Мандельштам, «Ласточка» (1920).
- ⁴⁶ См. Шапир 1995б, 135–139.
- ⁴⁷ Имеется в виду начатая в 1981 г. и до сих пор не оконченная работа Ю. Б. Норштейна над мультипликационным фильмом по гоголевской «Шинели».
- ⁴⁸ Как самостоятельный продукт и стадия в процессе сквашивания молока.
- ⁴⁹ Из поэмы В. Маяковского «Во весь голос» (1929–1930).
- ⁵⁰ Из стихотворения Е. Баратынского «Мой дар убог, и голос мой не громок...» (опубл. 1829).
- ⁵¹ А. Пушкин, «Евгений Онегин», 2, XL, 14.
- ⁵² Отсылка к книге (Алпатов 2005, 90).
- ⁵³ И. В. Гёте, «Фауст», ч. 1.
- ⁵⁴ В «Домике в Коломне».
- ⁵⁵ Вероятно, отсылка к книге (Алпатов 2005, 316).
- ⁵⁶ Слова Воланда (М. Булгаков, «Мастер и Маргарита», ч. I, гл. 3).
- ⁵⁷ А. Грибоедов, «Горе от ума», д. IV, явл. 14; д. III, явл. 1.
- ⁵⁸ См. Волошинов 1929, 188.
- ⁵⁹ См. Алпатов 2005, 186.
- ⁶⁰ См. Алпатов 2005, 211; Волошинов 1929, 17, 15.
- ⁶¹ См. Алпатов 2005, 240.
- ⁶² См. Волошинов 1930, 66; ср. Алпатов 2005, 245.
- ⁶³ См. Алпатов 2005, 245; Волошинов 1929, 17.
- ⁶⁴ См. Алпатов 2005, 304.
- ⁶⁵ Ср. выписку из тетрадей Бахтина в книге (Алпатов 2005, 307).
- ⁶⁶ Ср. Шпет 1916; 1922–1923, II.
- ⁶⁷ См. Алпатов 2005, 329.
- ⁶⁸ Здесь и ниже маркером «В» обозначены ссылки на книгу (Волошинов 1929). — *все примеч. — И. П.]*